

АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО

КНИГА ПЕРЕМЕН

ВОЙНА БЫЛА НЕМИНУЕМА.

МЫ НЕ ХОТЕЛИ МЕНЯТЬСЯ.

И ПОЭТОМУ ОНА НАЧАЛАСЬ.



КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

Андрей Цаплиенко

Книга перемен

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

2015

УДК 821.161.2
ББК 84.4УКР-РОС

Цаплиенко А. Ю.

Книга перемен / А. Ю. Цаплиенко — Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015

ISBN 978-966-14-9636-0

В сборнике рассказов известного украинского журналиста и писателя речь идет о войне, которая неожиданно пришла в Украину и изменила жизнь и сознание миллионов людей. Герои рассказов связаны сложной паутиной личных отношений друг с другом и с автором. Они вместе со всей страной идут дорогой перемен – от застоя к революции, от Майдана к войне. Истории, которые происходят с героями, кажутся невероятными, но это новая реальность, в которой нужно научиться выживать. Книга имеет все шансы стать в будущем одним из литературных документов эпохи, в которой нам выпало жить.

УДК 821.161.2
ББК 84.4УКР-РОС

ISBN 978-966-14-9636-0

© Цаплиенко А. Ю., 2015
© Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 2015

Содержание

Преисловие	5
Четверо выходят из ломбарда	7
Майдан TV	12
Крымнаш	20
Взведенный автомат	26
Тысяча восемьсот двадцать три плюс один	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Андрей Цаплиенко

Книга перемен

Преисловие

Брусчатка возле стадиона Лобановского, архангел Михаил в дыму, кровь на Майдане, зеленые человечки и «поребрики». В памяти все еще слишком свежо. Мы не забыли, как приближалась война. В своей книге Андрей Цаплиенко показывает нам это особенно, изнутри, с другой стороны, в незнакомом для большинства ракурсе. Глубоко и пошагово. Каждый рассказ – это эмоция. Она куда понятнее и ближе, чем сводка новостей. Я, кстати, не оговорился – Андрей именно показывает, а не рассказывает. Ему удалось, на мой взгляд, главное – текст полностью переносит тебя в книжную реальность. События происходят уже не с героями, а с тобой, читателем. Каждый рассказ ты невольно проводишь через себя. Можно сказать – проживаешь. В голове четкая визуализация. Читаешь и чувствуешь, как твоя одежда пропахла костром. А потом сердце бьется все чаще. Еще бы – не каждый день, когда на тебя объявили охоту, ты в джипе малознакомого человека ночью нарушаешь границу и несешься по Луганской области. Понимаешь, что готов ко всему. И, проезжая блокпост, за которым неизвестность, слышишь характерный «клик-клак» в исполнении автомата, которому в патронник досылают патрон. Клик-клак, приближающий войну. Ее приближало многое.

Я хорошо помню 17 июля 2014 года. Первые сообщения про сбитую «птичку», как выразился на своей странице в Интернете тот, кто ее сбивал.

Это была реальность, в которую мозг просто отказывался верить. Очень много боли и эмоций. Лично меня в тот день просто «убила» одна из фотографий. Нет, не тел, пристегнутых ремнями к авиакреслам. И даже не детских игрушек среди обломков. Меня парализовал снимок знаменитого путеводителя «Lonely Planet», который просто лежал на траве неподалеку от кресел. «Bali, Lombok» – было написано на обложке. Я смотрел на фото и представлял себя на месте вполне конкретного, хорошо понятного и близкого мне человека. Он мечтал об Индонезии, копил деньги, отпрашивался у руководства, составлял маршрут. И был уже на пороге мечты, когда щелкнул застежкой своего ремня безопасности в кресле Боинга с тремя семерками на борту. И умер счастливым. С путеводителем в руках. Предвкушая мечту. Умер практически мгновенно – разгерметизация салона на высоте почти десяти километров не дала понять, что жизнь и мечту оборвали подлая тактика и война, о которой он не раз слышал в новостях. Но не представлял, что на этой войне погибнет.

Тогда я представлял себя на борту МН-17 в первый раз. Больше чем через год Цаплиенко неожиданно вернул мне эти ощущения, причем глубже, чем в первый раз. Творческая реконструкция последних часов жизни Боинга переносит тебя в 17 июля 2014 года. Прямо в салон Боинга. Чтобы переживать и бояться до конца, несмотря на то что знаешь, каким он, конец, будет. Этот рассказ – основа для фильма, который соберет на фестивалях много премий. А книга – альтернативный учебник истории, в котором правда останется не в цифрах и фактах, а в эмоциях, понятных каждому.

Дмитрий Комаров, телеведущий, путешественник

*Тем, кто, навсегда оставшись в нашем прошлом, определяет
наше будущее*

*Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим
изменением.*

Махатма Ганди

Четверо выходят из ломбарда

Война была неизбежна. Если бы мы вовремя изменились, она бы легким призраком мелькнула где-то рядом и растворилась в воздухе, не оставив следа. Но мы не хотели меняться. И поэтому она случилась. Я не знаю, как это объяснить. Я не уверен, что у меня это получится. Но попробую.

* * *

На площади перед старым ломбардом стоял огромный монумент, поставленный в честь тех, кто, не спросив у людей разрешения, объявил Украину советской. И сама площадь носила громкое название – имени Советской Украины. Вот здесь-то я и увидел странного человека в облезлой ондатровой шапке и стеганом ватнике нараспашку, махавшего кулаками перед монументальным зданием.

Приближался холодный советский праздник. Руки рабочих споро сколачивали трибуну для городского начальства, а толстые милиционеры приплясывали на месте, пытаясь сосредоточиться на мыслях о тепле и водке. Они даже не сразу поняли, откуда доносится крик:

– Отдайте мои деньги, суки!

Человек в лысой ондатре на голове был в стельку пьян. В сжатых до синевы кулаках он держал по камню.

– Суки лживые! Забрали все!

Я вижу, как он машет своими плетьюми-руками, раскручивая их, как две пращи, и, когда степень вращения достигает своего максимума, разжимает кулаки. Слышен звон разбитых стекол. А потом раскаты безумного смеха, перемешанного с хрипотцой и бранью. Они разносятся над площадью, заглушая напрочь песни советских композиторов, льющиеся на головы и в уши прохожих из динамиков. Стучавшие молотками рабочие замерли и притихли.

– Где мои деньги?! Где мои вещи?! Где мое счастье?! – смеялся обладатель распахнутого ватника.

– Щас и свободу отнимем! – крикнул ментовский старшина. – А ну, хлопцы, вяжите его!

– Да вы и так ее отняли! Уже давно!

Смех над площадью не смолкал. Еще раз весело звякнули стекла.

– Да заткните же этому алкоголику рот!

Дюжие милиционеры принялись ловить пьянчужку, но это оказалось не так уж легко. Он уворачивался от них на своих нетвердых ногах, продолжая издевательски хохотать на всю площадь.

– Вы, суки, не заберете у меня мою свободу! До вас уже забрали! Эти!

Еще один камень полетел, теперь уже в сторону каменных апологетов Советской Украины.

«Не пейте синее вино,
Оно с лжецами заодно,
И от него в глазах темно,
Не пейте синее вино!»

– Так ты еще и поэт, сука! – орал милиционер, выкручивая рукава стеганого ватника, в которых, конечно же, оставались руки нетрезвого декламатора-пересмешника.

Моя бабушка в это время говорила: «Не смотри туда» – и тянула меня внутрь набитого автобуса. Я пилился на милиционеров и крикливого алкоголика, а взрослые пассажиры старались как можно быстрее занять свои места в автобусе, втянув шеи в одинаково серые воротники бесформенных пальто.

Я всегда просил свою бабушку взять меня на демонстрацию седьмого ноября. День переворота в семнадцатом году был самым ярким праздником в Харькове. Центральная улица, Сумская, наполнялась красной рекой транспарантов и флагов, качавшихся над головами людей, и мне тогда хотелось стать частью этой реки, влиться в нее одним из притоков. Казалось бы, это дело нехитрое. Стоило только попросить бабушку взять меня с собой на работу, в профтехучилище, где она проработала много лет подряд. Там обычно формировалась колонна учеников, которая потом выдвигалась в центр города, чтобы соединиться с другими притоками красной праздничной реки людей.

Но бабушка, которая часто возила меня с собой на дежурство, никогда не брала меня на демонстрацию или на парад. До сих пор не знаю почему. Возможно, она боялась толпы. Боялась, что собранные в большом количестве люди могут затоптать ребенка, если толпу охватит паника. Хотя нет, вряд ли она боялась именно этого. Ведь к ней на работу мы ездили вдвоем, на желтом «Икарусе» номер тринадцать, от конечной до конечной. Выстояв неимоверно долгую и многолюдную очередь на площади Советской Украины, мы набивались в автобус, как селедки, и вместе с остальными селедками-горожанами принимали странные позы, в которых приходилось находиться аж до конца проспекта Гагарина, где большая часть пассажиров сходила, и в опустевшем салоне можно было посидеть две-три остановки.

Харьков семидесятых и восьмидесятых был полон противоречий. Увидев в новостях, как на площади Советской Украины открывали памятник коммунисту Артему в частности и Советской Украине вообще, я был неимоверно горд тем, что живу в городе, который показывают по телевизору. И меня совершенно не смущало, что этот памятник сразу окрестили длинным прозвищем «Четверо выносят из ломбарда холодильник, а пятый тормозит такси». В этом «пятом» узнавался сам Артем, в кожаной комиссарской тужурке и с усами под каменным носом.

– Мам, а почему памятник называют именно так?

– Ну, понимаешь, сынок, он же стоит перед ломбардом...

– Да, это я понимаю. Но почему ВСЕ взрослые его так называют? И смеются?

Все наши знакомые хоть раз в жизни имели дело с ломбардом. Нужны деньги – сдаешь что-нибудь ценное в залог. Хочешь вернуть – плати больше, чем тебе дали. Из-за фасада показного коммунизма выглядывала, ухмыляясь, реальная экономика. Взрослые это понимали. Я – нет. Поэтому про холодильник из ломбарда им было смешно, а мне непонятно. Причем вдвойне непонятно было, когда мама тревожно попросила не задавать таких вопросов «чужим дядям и тетям» и не употреблять в адрес монумента слово «холодильник», хотя бы в местах большого скопления людей.

Мы смеялись, но не хотели, чтобы с нами смеялись чужие. Мы боялись, что наш смех и наше чувство юмора оценят другие люди. Однажды мне попалась книжка «Тим Талер, или проданный смех», и я запомнил одну очень важную фразу оттуда: «Смех – это внутренняя свобода». Но к тому времени меня еще не научили шутить.

– Бабушка, а ты член партии? – спросил я, поедая аппетитную жареную картошку, желто-поджарыми дольками лежавшую на чугунной сковородке. Я любил картошку и любил, когда эта огромная закопченная сковородка устанавливалась на проволочную подставку посреди стола и над ней поднимался ароматный пар простого и обильного обеда. Моя любовь к бабушкиной картошке была притчей во языцех, и я всячески подыгрывал образу фанатичного поклонника чугунной сковородки. Однажды, когда она, как языческая реликвия, взгромоздилась на стол и ритуал священного чревоугодия подходил к своей кульмина-

ции, я с криком «Картошечка моя любимая!» поцеловал серый чугун. Я, конечно же, шутил. Но очень скоро мне стало не до шуток. Чугун был еще горячим, и мои губы превратились в два красных вареника раньше, чем я успел закричать от боли. Дальше были нудные дни, проведенные в пределах двух наших комнат в коммунальной квартире, и тошнотворная мазь, которой мне смазывали ожоги. Мне кажется, тогда я понял, что у шутки должны быть свои пределы.

Вот не помню, спрашивал ли я бабушку про партию до горячего поцелуя сковородки или после.

– Нет, внучек, я не член КПСС, – ответила та, улыбнувшись.

– Не член? Но ведь ты коммунист, правда? – настаивал я.

Моя простая и прямолинейная бабушка на этот раз промолчала, а мама, посчитав мой вопрос неловким, торопливо ответила за нее:

– Да, да, она коммунист, конечно.

«Коммунист» – это звучало круто. Это был знак принадлежности к элите. И я с детства знал, что можно быть коммунистом и не быть членом Коммунистической партии.

Да, меня не научили шутить. Не рассказали, когда нужно смеяться над хорошими шутками и как отличать их от плохих. Поэтому я всегда думал, что «не-член КПСС» вполне может быть коммунистом.

Мне хотелось совершать подвиги. С красным флагом над головой идти освобождать другие народы от капиталистического ярма. Дарить счастье коллективизации страдающим от проклятых латифундистов фермерам Северной и Южной Америк. Мне грезилось, как я в зеленой каске с красной звездой иду по улицам освобожденного Парижа и над Эйфелевой башней радостная толпа французов поднимает транспарант «Слава советским воинам-освободителям». Я не мог понять, почему загнивающий Запад не видит своего счастья в той славной перспективе, которую им сулит союз равноправных народов, раскинувшийся на одной шестой части планеты, и почему продолжает загнивать. Учитель истории с кривым носом и лягушачьими губами объяснил, что Запад будет загнивать вечно, если мы ему не поможем. Я был вполне согласен с ним.

Вот только почему так трепещет неокрепшее сердце от альбомов, в которые мои дворовые друзья собирали этикетки от жвачек? Какой у них ароматный клубничный запах! Запах сказочных стран, где все счастливы и богаты. И почему мне так нравится, когда из огромных колонок «Радиотехники» в квартире у приятеля разносится на всю улицу:

«Mamma's got a problem.
You don't know what to say.
Your little baby-boy
Is not home today».

И даже надпись иностранными буквами на латвийской стереосистеме, кажется, немного приближает этот так красиво загнивающий мир. Я не мог понять, чего мне хочется больше: научить весь мир жить в коммунальной квартире, такой же точно, как у меня? Или иметь собственное пространство, в которое окружающий мир может проникнуть только с моего личного разрешения?

В метрику мама записала меня русским. Мне кажется, ради моего благополучия. Тогда, видно, перед человеком со словом «русский» в пятой графе двери открывались чаще и шире. Кем же я был на самом деле? Мамины мама с папой родились в многодетных крестьянских семьях под Курском и Орлом. Так ни разу мне и не удалось съездить и посмотреть на жизнь своих родственников в среднерусской полосе. Еврейские и татарские корни в генеалогии моего отца переплетались с тоненьким ростком, тянувшимся из Запорожской Сечи.

Но, видно, был он слишком настырным, этот запорожский росток. Любимая книга детства – «Тарас Бульба». «А повертись-ка, сынку. Экий ты смешной в этом жупане». Записано по-украински, но русскими буквами. Я был, как автор Бульбы, полон противоречий. Украинская душа, заключенная в русские формы. И первый раз заплакал я над книгой, когда наткнулся на рассказ одного писателя о первой российско-украинской войне. Главная героиня, девушка-лазутчица, бежит от большевиков, безуспешно пытаюсь перейти через линию фронта, к своим. Мне было жалко эту девушку, умную и красивую, вынужденную спастись от страшной орды освободителей. Мне хотелось влюбиться именно в такую девушку и вместе с ней, убегая от зла, перейти на сторону добра. Рассказ этот, помнится, мне попался тоже на русском.

Украина во мне росла очень медленно. Юношей я спорил с ровесниками, пытавшимися доказать мне, что украинская литература скучна, украинское искусство примитивно и что кино делится на хорошее, плохое и киностудии Довженко. Аргументы у меня были слабые. Кроме, конечно, автора Тараса Бульбы. «Но он писал на русском!» – говорили мне умные сверстники. И тогда у меня не оставалось аргументов. На самом деле сейчас, набрасывая на белый лист эти строки на русском, я понимаю, что язык – не аргумент. Главное не то, на каком языке ты пишешь, а над какими книгами плачешь.

Однажды мой лучший друг сказал мне: «Украина будет независимой». В крови играли молодые гормоны. От этого краски мира казались ярче, музыка громче, а девушки красивее. Сначала я не понял, о чем вообще говорит друг, и не знал, что ему ответить. И тогда он предложил напечатать листовки с призывом бороться за независимость Украины. Я сказал да, хорошо, давай напечатает. Но печатать их надо было много. Как? Мы не знали тогда ни ксероксов, ни принтеров и целую ночь напролет писали от руки воззвания к землякам и соседям, разделив усеянные квадратиками странички из тетради по математике на две половинки. Слева писали на русском, справа на украинском. Вместо слова «товарищи» как-то непривычно и романтично было выводить «панове». Старались писать печатными буквами – опасались, что КГБ устроит графологическую экспертизу. Да что там опасались! Откровенно боялись. До девяносто первого года было еще очень далеко, и о независимой Украине говорил разве что Збигнев Бжезинский в далекой Америке, но он был ястребом и антисоветчиком. А о Стусе и Черноволе мы тогда еще не знали. К чему я это? Да, пожалуй, к тому, что, рассовывая по соседским почтовым ящикам самодельные листовки, я на самом деле ни о какой независимой Украине не думал. На сей патриотический акт меня толкал врожденный авантюризм и желание посмотреть, что будет с крамольными бумажками после того, как они попадут в руки знакомых, малознакомых и незнакомых людей. Но на самом деле не произошло ничего. Утром в Харькове все так же звенели трамвайные рельсы, когда тяжелые вагоны поворачивали на перекрестках, люди торопились на заводы и в конструкторские бюро, а КГБ не спешил арестовывать ни меня, ни моего школьного друга. Жаль, что все наивные листовки разошлись. Интересно было бы проверить грамматические ошибки в тексте и оценить с дистанции сегодняшнего дня радикализм воззвания.

Я вспомнил о листовке лет тридцать спустя, в тот момент, когда мой лучший друг, уезжая в Крым, вынимал из петлички серого пиджака сине-желтый значок. Он шел по перрону киевского вокзала и грубо подшучивал над русскими войсками на Крымском полуострове, а рука в это время снимала эмалированный украинский флаг. Я не осуждал и не осуждаю его. Рассовывать листовки по квартирам было интересно, но ты не глядел смертельной опасности в лицо. А когда видишь ее стальные зрачки, широко раскрытые, как у жадного до «ширки» наркомана, быть героем непросто. Настоящая наша родина рождалась в боли и страхе, причем в большей степени в страхе. Холодном, как гусеницы неподвижного танка.

Я все это вспоминаю, и у меня возникает совершенно иррациональное чувство, что война была предопределена всей нашей жизнью, всей нашей официальной историей, лжи-

вой и плаксивой, как рассказы проституток. И всей нашей неофициальной историей, громкой и сумбурной, как предсмертные крики жертв инквизиции. Как стихи о синем вине на морозной площади.

Если бы Харон был волонтером, он бы сменил свою лодку на рефрижератор. Такова наша война.

Майдан TV

Поначалу я не понимал, ради чего люди, пропахшие костром, стоят на Майдане. Мне не нравился хаос котлов с дымящимся борщом и бочек с догорающими обломками мебели, которую, скорее всего, вынесли из Дома профсоюзов. После ремонта жена сказала мне: «Отдай старый паркет на Майдан», и я передал мешков этак с восемь древесины на главную площадь нашей мятежной страны. Вот и весь вклад в революцию. Мне было жаль мерзнувших людей на площади. Но мне в то же время было жаль и того спокойного образа жизни, в ритме которого существовал дореволюционный Киев.

Впрочем, как журналист я не мог позволить себе контрреволюционную роскошь брызгать ядовитой слюной в адрес тех, кто в самый лютый холод не хотел уходить с Майдана. Я должен был объективно и беспристрастно рассказывать о том, что видел и слышал вокруг себя.

В Дом профсоюзов мы пришли, чтобы снять очень забавного революционера по прозвищу Цезарь. Парня звали Юрием. Отличное сочетание, не правда ли? Юрий Цезарь. Яркое цыганское лицо этого веселого человека обрамляли длинные кудри. Слово «Цезарь» было выведено золотой краской на инвалидной коляске, самоходным тронem возвышавшейся в фойе революционного здания. Юра был инвалидом. Надевая на обрубки ног стоптанные кроссовки, он нагло и грубо, не спрашивая разрешения, перешел со мной на «ты»:

– Слышь, помоги подняться!

И я, конечно, помог. И тоже фамильярно сократил дистанцию наших отношений:

– Слышь, Юра, а почему ты Цезарь?

– Ну, понимаешь, это мой любимый актер, – сказал он и рассмеялся. Его смех чем-то напоминал хохот автора «Синего вина» из моего детства. Очень уж громко смеялся Юрий Цезарь. Оказалось, он действительно думал, что Цезарь – это имя киноартиста. К чему тогда смеяться? Юра ездил на своем троне по Майдану, накинув на плечи украинский флаг.

– Я приехал в Киев чинить скутер, – скутером он называл свой автономно передвигающийся мини- трон, – ну и решил остаться. Меня взбесило то, что менты избili семнадцатилетних пацанов. Теперь пусть меня избыбют. На все воля Божья. Будем стоять до победы.

У Юры была и собственная мотивация участия в революции. Личная.

– Я был владельцем небольшого магазинчика в Евпатории. И вот его у меня отобрали. У меня и моего друга. Побили нас сильно, – весело рассказывал он, проезжая мимо котлов с борщами и кашами.

Хитрая улыбка не сходила с Юриного лица. Его друг, тернопольский паренек, подошел к нам и, пожав руку, восторженно заметил:

– Юрко реально заводить. Ми серйозно сиділи біля бочки з дровами цілу ніч з ним. Він підбадьорював людей. Чуваки, кажу, з ним весело! Йому завжди потрібна допомога, але ми хлопці ніби не горді. Допомагаємо.

И вместе с таким же, как и он сам, юным майдановцем взял под руки Цезаря и спустил его на землю. А рядом проходил долговязый революционер с охраной, которому вскоре история найдет место в премьерском кресле.

– Эй, Арсений, как вас там? Петрович! – закричал Юра. – Я за вас голосовал!

«Вот как, – отметил я про себя, – со мной на “ты”, а с Петровичем так на “вы”».

Длинный, как жердь, Арсений Петрович был вынужден присесть на корточки рядом с инвалидом, чтобы его глаза оказались на уровне Юриных.

– Я за вас голосовал, – повторил Цезарь и без пауз и стеснения добавил: – А можно ваш телефон?

Яценюк смутился, но быстро нашелся:

– Ты знаешь, Юра, мой номер у охранников, я его... эээ... не помню, они его... эээ... тебе дадут.

– И ты, ты дай, – сказал Цезарь, повернувшись ко мне.

Я, в отличие от Петровича, свой номер помнил. Пришлось сообщить настырному инвалиду свои контакты.

Майдан кипел весельем, которое бурлило вокруг инвалида.

– О, глянь, сколько жира! – смеялся Юра, вдыхая аромат борща.

– Ти спробуй, друже, який смачний! – протягивал хозяин казана огромную ложку безногому Юре.

– Слава Украине, – вместо благодарности пробормотал Юра, проглатывая борщ, и у него получилось что-то вроде «Слава Украины».

– Ні, друже, правильно не «Слава України», а «Слава Україні».

– Та я знаю, знаю. Просто борщ у тебе очень вкусный. Героям слава!

– Ну, тепер вже молодець! – похвалил Юрка повар.

Мягкий пластиковый стаканчик со свесившимся через борт хвостом чайного конверта обжигал руки. Над каменным архангелом поднимался дым.

Юра подкатил к палатке с надписью «Донецк» и остановился возле бочки. Веселый огонь бился в ней, облизывая сломанные ножки старого стула. Невысокий средних лет человек подбрасывал в бочку дрова и, вглядываясь в причудливую игру огня и холода, мечтательно улыбался своим мыслям.

– Это Толя! Из Донецка! – крикнул Цезарь, даже не глядя на меня. – Привет, Толя, как дела?

– Да ничего, нормально, – сказал Толя, продолжая улыбаться. Что-то очень хорошее и честное было в его улыбке.

– Он из Донецка, – сказал мне Цезарь так, словно открывал страшную тайну Толиного происхождения. – Он герой! Бросил все, и теперь ему назад дороги нет. Там же все бандиты, в этом Донецке, ну, ты знаешь.

Толя тихо, но настойчиво перебил его:

– Ну, во-первых, бандиты там не все. У нас очень хорошие люди. Вся палатка из Донецка, тридцать человек. А во-вторых, какой я герой? Просто хочу жить честно и хочу, чтобы всем жилось лучше. Как-то так. А закончится Майдан, вернусь в село.

– В какое село?

Для Юры это была новость. Человек из Донецка живет в селе. Цезарь думал, наверное, что в Донецке все шахтеры. «Вышел в степь донецкую», и все такое.

– Я же из-под Опытного, там земля моя, трактор. Там дед мой еще пахал.

– Так ты донецкий колхозник, значит? – Даже в том, как Юра удивлялся, сквозила беспардонность, которую собеседник мог счесть оскорбительной. Но Толя нисколько не возмутился, а еще больше улыбнулся.

– Да, Юра, именно так. Донецкий колхозник.

– Ну, бывай, колхозник, – попрощался с ним Цезарь и величаво двинулся на своем троне дальше по Майдану.

Я глядел на Юру и думал о том, что с ним будет, когда он вернется к себе в Евпаторию. И сможет ли вернуться на дедовскую землю донецкий колхозник Толя?

Цезарь давил на кнопку, бормоча еле разборчиво: «Залипает, стерва, едет только вперед... Надо чинить».

Двое молодых людей, парень и девушка, что-то шептали друг другу, слегка соприкоснувшись теплыми балаклавами. Революция, как умная и не слишком красивая женщина, еще не влюбила меня в себя, но уже заинтересовала.

Дома жена, чмокнув меня в щеку, впервые не ругала за пропахший дымом воротник куртки. Мне снова захотелось прийти на Майдан и увидеть сине-золотое море флагов над веселой смеющейся толпой. Смех Майдана был совершенно искренним. Не истошным клоткотанием порванных нервов в горле полоумного алкоголика, придавленного откормленными милицейскими телами. И не сытым хохотом патриция, развращенного неограниченной властью. Майдан смеялся от избытка свободы. И он готов был поделиться ею с каждым новичком, робко проходившим на главную площадь страны мимо рядов сложенных горкой шин и раскаленных от огня железных бочек. Языки пламени лизали закопченные жестянки. А смех свободы озарял чумазные лица точно так же, как мерцающий огонь. «Побратим, друже, товарищ», – так говорили тебе незнакомые люди, и ты не сомневался ни минуты в искренности этих удивительных слов. Эти люди, казалось мне, двигались только вперед, потому что в их жизни навсегда сломалась опция «Задний ход». Как в повозке-троне, на котором Юра кружил по площади.

* * *

Но, как только ты покидал площадь, тебя охватывали сомнения. Перегороженные мешками дороги мешали ездить по городу. Черный от копоти снег никто не убирал на Крещатике, и он спрессовывался в черный лед. В троллейбусах ворчали немолодые женщины в беретах, называя революционеров «понаехавшими». Впрочем, они так же рьяно ругали и президента, но в наших троллейбусах в принципе не любят президентов, так что этот жанр вербальных протестов не удивлял слуха своей новизной. А вот привычная белая картинка центра Киева, перекрашенная в огненные и черные тона, слегка раздражала, не скрою. Ну, а потом все начало меняться так стремительно, что из телевизора чуть ли не каждый день звучала фраза о том, что «сегодня мы проснулись в новой стране». Причем день ото дня она становилась новее и новее. Сначала упал Ленин. И я оказался рядом практически случайно.

* * *

– А не съездить ли тебе, Андрей, на Майдан?

Это мой главный редактор, человек осторожный и воспитанный. Свои приказы он раздавал вот в таком, завуалированном виде. Отказ не принимался. Было нечто иезуитское в том, что, казалось бы, формулировка предполагала вольный выбор ответа. Но притом отказаться невозможно. Все знали это. И признавали образность высказываний главного человека в редакции добротой. Но доброта не являлась главной его добродетелью. Он был остроумен, расчетлив, опытен и благодаря этим вышеперечисленным качествам умел манипулировать людьми. Если кто-то вам скажет, что управлять людьми несложно, не верьте этому человеку. Легко управляет людьми лишь тот, кто хорошо знает человеческие слабости и понимает, что сущность личности определяют не сильные, а слабые ее стороны. Почти как в электронике, где качество любой сложной системы определяется по низшим, а не по высшим параметрам. Проводя брифинги с журналистами, главред любил использовать парадоксальные сравнения, разбирая структуру отснятого сюжета:

– Вот, например, пиво... Фещенко, ты любишь пиво?

– Конечно, люблю. А кто ж его не любит?

– Жена моя не любит. Это к слову, так сказать... М-да.

– Так, а при чем здесь пиво?

– А при том. Представь-ка себе пиво. Оно наливается в стакан, стекая по краям бокала, играя на солнце холодным янтарем. И ты предвкушаешь, как дурманящая прохлада заливается тебе прямо в пересохшее нутро. Представил?

– Да.

Кадык журналиста Фещенко рефлексивно дернулся. А редактор продолжал:

– Это подводка. Ведущий в студии создает ощущение того, что зрителю обязательно надо посмотреть именно твой сюжет. Идем дальше. Пиво уже в бокале. Видишь пену?

– Вижу.

– Видишь, какая она пушистая, объемная, похожая на пенку для бритья?

– Вижу. Чего вы меня мучаете этим пивом?

– погоди, старик, сейчас ты поймешь. Что ты обычно делаешь – пьешь пиво с пенкой или без?

– Без пенки.

– Ждешь, когда она осядет, наверное?

– Жду, конечно. А что, надо дуть на нее?

И тут главный начинает кричать, да так, что стены дрожат:

– Так какого хрена ты начинаешь свой сюжет с унылого говна?! Это все равно что стать напротив зрителя, показать ему пиво и дунуть так, чтобы пенка ему в рожу полетела!!! Вот будет с тобой после этого бухать зритель? Нет, не будет! Иди и думай, как снимать!

Главный не был алкоголиком. Но, поскольку алкоголизм – это профессиональная болезнь журналистов, он знал, как найти путь к уму и сердцу любого из своих подчиненных через их слабости. В этом и состоит великое и ужасное искусство манипуляции.

Меня он ловил на желании экспериментировать. «Понимаешь, никто этого не делал. Сомневаюсь, что получится», – озабоченно качал он головой. А я говорил: «Получится». И старался делать так, чтобы все у нас получалось. А слабо тебе взять камеру и в прямом эфире пройтись по Майдану и вдоль Крещатика?

Это на первый взгляд кажется делом простым. Ну что тут сложного? Иди себе и рассказывай, что видишь. Правда, слова должны очень ловко соскакивать с языка и точно попадать в сердце зрителя. И права на ошибку ты не имеешь, потому что дублей не будет. Это ведь прямой эфир. Кроме того, нужно успеть задать интересные вопросы самым ярким революционерам и при этом моментально выбирать тех, кто не медлит с ответом, а станет на ближайшие несколько минут интересным собеседником. К тому же все время надо быть в движении: быстро передвигаться от памятника Ленину напротив Бессарабского рынка к центру Майдана Незалежності. Это было похоже не на журналистику, а на спорт. Разговорно-беговое атлетическое троеборье на пересеченной местности. Ну как я мог за него не взяться?

Старт был намечен возле памятника Ленину. Но, когда мы подъезжали к Бессарабке, я заметил толпу, которая двигалась в направлении памятника.

– Валят! Валят! – кричали люди.

Я сначала опешил.

– Кого валят? – спрашиваю.

– Ильича валят! – И улыбка, смешанная с белым паром, уносилась куда-то вперед, туда, где нерушимое становилось хрупким и временным.

Каменный вождь считался очень ценным произведением искусства. Говорили, что памятник внесен в некий список особо ценных объектов культурного наследия. Не удивлюсь, если на этом настояли отечественные коммунисты, чей авторитет держался только благодаря символам. Сам памятник выглядел довольно стандартно и скучно.

А тут – такое агрессивное веселье.

Неужели он упадет, и все изменится? Мы пытались пробиться через толпу к эпицентру события. Это было почти невозможно. Желто-голубые ленточки на сумках возбужденных девиц хлестали меня по щекам, и кто-то громко ругался, ударившись о штатив камеры, который я тащил на своем плече. Мы едва успели на событие.

Слева от монумента стояла группа солдат в синей форме. К ним подошел священник и спросил:

– Вы не будете стрелять?

Молодые парни растерянно посмотрели сквозь пластиковые забрала своих черных шлемов и переглянулись. Робко пожали плечами.

– Благословляю вас, ребята, – сказал священник и осенил шеренгу крестом. Он принял движение плеч за знак согласия.

Кто-то уже взобрался на постамент и даже еще выше и набросил на Ленина стальной трос. Другой конец троса был прикреплен к мощному трактору. Тракторист рассчитывал одним движением сорвать глыбу мрамора с постамента. Не получилось. Вождь мирового пролетариата пошатнулся, но устоял. И тогда толпа приняла правильное, с точки зрения физики, единственно верное решение сей задачи: раскачать статую. Явление резонанса никто не отменял. Мрамор все больше раскачивался. Амплитуда движений «вперед-назад» росла, пока наконец вождь не сорвался вниз, чуть не пробив головой отполированную тротуарную плитку на площадке перед монументом. Земля вздрогнула. Толпа закричала в едином порыве восторга. Бульвар Шевченко, мчавший в обе стороны потоки машин, взвыл десятками клаксонов.

В этот момент меня посетило видение. Из глубин памяти восстал апрель в Ираке. Вождь на постаменте опоясан стальным, как и в холодном декабрьском Киеве, тросом. Трактор, так и не сваливший его с первого раза. Согнутая арматурина внутри памятника, удерживавшая его от фатального и живописного падения. А потом обломки статуи в центре Багдада и отбитый зубилом в сильных руках гигантский бетонный нос.

Потом было много фотографий с низложенным халифом. И много войны и крови.

Зима в Киеве не похожа на весну в Багдаде. Так я сказал себе, отогнав неприятные мысли. Мне хотелось перемен. И верилось в светлое будущее.

– Сегодня произошло то, что дает нам сигнал, что завтра мы с вами проснемся уже в другой стране, – говорил я в микрофон, глядя в камеру, перебарывая страх, и восторг, и морозный воздух, мешавший говорить. А за моей спиной сильные революционные руки с помощью молотка и зубила отбивали ленинский мраморный нос. Разве вы не знаете, что все самые важные вещи на земле происходят за спиной у журналиста?

Дальше бег по пересеченной местности. Знакомая баррикада с надписью «Поймите. Нас достало!» Набитая горящими дровами железная бочка.

– Добрый день! Скажите, а вы готовы к встрече силовиков?

– Готовы.

– А если они захотят разогнать Майдан?

Пауза. Потом ответ:

– А мы их встретим чаем. Вот у нас какой вкусный чай. Ароматный. Мы всех здесь угощаем. Бесплатно. Хотите?

Никогда не думал, что пластик может так приятно обжигать руки.

Идем к палатке. Заходим внутрь большого брезентового шатра.

– Ого, как здесь тепло! А где вы спите?

Камера снимает матрацы, на которых, как на передовой бойцы, не раздеваясь, спят майдановцы.

– А что вы едите?

– Да вот, приготовили бутерброды с чаем.

Камера панорамирует по холмам всевозможной снеди на столе. Миллионы людей в Украине и за ее пределами видят на своих широких экранах эту снедь революции и слышат мой голос:

– Спасибо за угощение, но чаем нас уже напоили.

Как это трогательно, мирно и весело – мерзнуть на Майдане.

«Меняйте локацию», – слышу в наушниках.

А дальше внезапный телевизионный бросок к елке. О, нет, не так! К «йолке», ведь это слово в таком виде выговорил президент, которого свергали прямо сейчас, в моем прямом эфире, мирные люди с чаем и бутербродами.

Короткие и веселые интервью пришлось закончить внезапно, после слов режиссера: «Финальные титры! Все молодцы!» Мы сделали это. «А ты крутой, дружище», – услышал я голос своего тщеславия, говоривший интонациями главного редактора. Он манипулировал мной, я понимал это хорошо, но в тот момент мне это очень нравилось. Ломая одни стереотипы, ты подчиняешься другим. Майдан стал новой формой телевидения.

И это открытие вдохновило многих телевизионных менеджеров, которым важно было конвертировать рейтинг в деньги. А уж конвертировать буйную казацкую республику Майдана в рейтинг было делом несложным. Бегая со своими рюкзачками-передатчиками по спринтерскому участку Крещатика от Богдана Хмельницкого до Стеллы Независимости, журналисты больших денежных каналов зачастую сами не понимали, что становились конверторами. Передвижными мобильными конвертационными центрами. Правда в эмоции, эмоции в информацию, информация в рейтинг, рейтинг в деньги. Хотя в моменты прямых включений об этом не думал ни один из тех, кто посреди костров протеста пытался достучаться до остальной страны, болезненно оживавшей от мерзлой полудремы. «Завтра мы проснемся в совсем другой стране, послезавтра в третьей, а еще через день в четвертой», – так полусуто ворчал главный редактор, пародируя меседжи своих ведущих, у которых замирало в эфире сердце от ощущения реальной свободы слова.

Судя по репликам из администрации президента, немногословный лидер страны не знал, чем дышит Майдан. Мороз и дым не долетали до правительственного квартала. А зря. Возможно, если бы дважды несудимый человек в дорогом костюме открыл окно и послушал шум улицы, он тогда понял бы, что следующим с гранитного постамента слетит он, пусть не физически, не буквально. Он уже падал вниз, глупо моргая выпученными глазами, но, падая, дал команду своим цепным псам и запустил маховик войны, о которой мы, его народ, ничего не слышали и в которой ничего не понимали.

Но я увидел, как над огромной страной джинном, выпущенным из бутылки, вьется она, будущая война, хотя сразу и не понял, кто именно ее выпустил.

* * *

Они не любили телевидение. Считали его продажным и лживым. Отчасти это так и было. Но всякий раз, когда видели камеру, они надеялись на то, что им удастся достучаться в башню из слоновой кости, на вершине которой восседала единственно верная, горячо любимая непогрешимая личность. Закопченный парень со щитом прикрыл меня, когда я выходил в прямой эфир. Пластиковые пули стучали по деревянной поверхности щита, светошумовые гранаты отскакивали, как теннисные мячики, и, падая, гулко взрывались. А эхо взрывов морозный киевский воздух быстро растаскивал по улицам и переулкам древнего города. Он в своей башне не мог этого не слышать. Я видел тысячи людей на склоне холма напротив входа в стадион. Горели автобусы поперек улицы Грушевского. Горели билеты в каменной пристройке, где была касса самого знаменитого стадиона города. И тут я заметил молодых людей – парней и девчонок, разбиравших тротуарную плитку возле стадиона и на аллее парка, уходившей куда-то вниз, к днепровским берегам. Они действовали четко. Как часовой механизм. В движениях их рук не было ни суеты, ни страха, ни эмоций. Они выполняли задачу. Эта задача была проста – пробить брешь в рядах блестящих черных шлемов, стоявших перед толпой. Те, кто бросал камни, подходили цепочкой, прикрываясь щитами,

среди которых было немало трофейных. Левая рука на плече впереди идущего товарища, правая держит щит над головой. «Раз, два, раз, два!!!» – бодро покрикивал командир этой группы. Они шли вперед без страха, как легионеры, штурмующие городище варваров, хотя однообразием почерневшей от копоти одежды и оружия не отличались. А когда легионеры оказались прямо перед линией горящей техники, появились знаменосцы с сине-желтыми флагами. И люди, выковыривавшие плитку, выстроились в цепь. Это была настоящая армия революции. Она была серьезно намерена победить.

И тут я услышал хлопки выстрелов. Стреляли с той стороны баррикады, образованной остовами сгоревшей техники. Кто-то согнулся, словно сломанное пополам дерево. Кто-то упал на колени, закрыв руками лицо. Пальцы рук почти черные от копоти, и вот между черными и заскорузлыми, как корни старого дуба, пальцами сочится красная жидкость. Вязкая, как масляная краска. Я не верю до конца, что это кровь. Я не могу поверить, что это кровь, потому что это происходит в Киеве, в центре стольного града, именно там, где я недавно прогуливался с семьей и думал о самом удивительном и спокойном городе в мире. А к человеку с кровавой маской вместо лица уже подбегают люди в оранжевых жилетах и зеленых касках времен Второй мировой. И лица под касками тоже с тех времен, такие же закопченные и усталые. И только по красным крестам на шлемах можно понять, что это медики.

В ухе работает подслушка:

– Не говори, что внутренние войска применили пластиковые пули. Это неправда, МВД опровергает.

Я не знаю, что там опровергает МВД, но я вижу своими глазами, как сраженные и покалеченные милицейским пластиком люди падают на холодную, еще не выковырянную революционной армией брусчатку, добавляя к серо-белым оттенкам мятежной зимы артериальные тона красного. Мелькают зеленые каски, оранжевые жилеты смешиваются с дымом. Закопченная, твердая как камень рука насыпает мне в ладонь пластмассовые серые шарики. Дробь, заряженную в спецпатроны для спецружей, из которых по толпе палят спецподразделения. Грохот стоит неимоверный. Я не хочу войны, но я вижу ее призрак и слышу добрый спокойный голос, обещающий простой способ того, как ее можно избежать. До эфира пять минут. На ладони серый бисер пластиковых пуль.

– Не стоит говорить, что они стреляют, ведь травмы несущественны. А ты знаешь, сколько ребят из милиции они отправили в больницу своими булыжниками? Ты видишь, им нужна кровь!

Я сжал ладонь в кулак и снова раскрыл ее. Обычные серые пластиковые шарики. Голос в наушниках просит меня назвать белым не черное, а всего лишь серое. И, если хорошо подумать, не то чтобы назвать, а скорее не назвать, что в корне меняет дело.

– Да, и скажи про радикально настроенных молодчиков.

И тут я увидел, как в протестующих полетели черные шары с шипами, похожие на свернувшихся в клубок ежей. И эти шары взрывались со страшным грохотом, ослепляя глаза вспышками света. Один из демонстрантов, пожилой человек с небритым лицом, в строительной каске и брезентовой куртке с закатанными по локоть рукавами, схватил черный шар. Он хотел его отбросить в сторону, подальше, но не успел – светошумовая граната взорвалась прямо в его руке. И я вижу, словно в предутреннем бредовом кошмарном сне, как лицо человека исчезает в пятне яркого света, но лишь на мгновение, а потом из брезентового рукава, ломаясь возле локтя, выпадает рука и падает на мостовую. Наяву! Белый до тошноты сустав блестит из обрывков кожи, а потом медленно, как в замедленной съемке, покрывается розовой краской, и она становится все краснее и краснее. Я не слышал крика боли этого старика, да, я думаю, это был старик, за шестьдесят точно. Я не слышал даже взрыва гранаты. И я до сих пор надеюсь, что мне это привиделось, что я чего-то не рассмотрел в толпе, штурмующей черные шеренги, но это не главное. Главное было потом. На меня посмотрел парень,

вооруженный битой и деревянным щитом. Посмотрел, скептически оценив мой шарфик, и закрыл меня собой. От черных оглушительных гранат. От пластиковых пуль. Тех самых, о которых мне предстояло через пять минут сказать, что их нет.

И я не смог не сказать неудобную правду, хотя было можно промолчать. Сказал, что эти шарики есть. И мне стало легко. Все равно, что будет потом, сейчас надо суметь наслаждаться правдой этой минуты. Здесь и сейчас.

А потом нас накрыло неизвестным газом, и мое нутро, как мне показалось, вывернулось, словно старая перчатка, и зловонная жидкость полилась из меня на холодный камень тротуара. Моего оператора, старого верного друга, затрясло в лихорадке, и он сказал, что не может снимать дальше, даже понимая, что мы получили бесплатный билет в первый ряд действия, которое собирает зрителей лишь один-единственный раз в истории. Это как уйти с первого тайма чемпионата мира по футболу и второй досматривать по телевизору, дома. Дальше капельница и диета. И достаточно много времени, чтобы понять, на чьей ты стороне.

Крымнаш

– То, что с тобой произошло, это как... словно... – Собеседник искал подходящее сравнение, перебирая столь любимые им сочные образы.

Циничный политтехнолог и сибарит, но вместе с тем свободолюбивый либерал и эстет. Странная комбинация качеств для человека, работающего на толстосумов. Он играл смыслами, передвигая их, как иные двигают фигуры на доске. Его интересовали деньги. Но больше, чем деньги, его возбуждала мысль, что он влияет на некие геополитические процессы. А сейчас, видно, он искренне был удивлен. Понял, зная, что на процессы влияют совсем другие люди. Не он. И оставалось только сменить кресло главного режиссера на обычный билет в партере. Это, похоже, понимали и его работодатели.

Но во времена перемен яркие слова разлетаются со скоростью трассирующих пуль.

Политтехнологу хотелось сказать что-то яркое. Он задержал руку журналиста в своей тонкой ладони и сказал:

– Это, как бы точнее сказать, было так, словно мимо тебя пролетала птица гражданской войны и чуть-чуть коснулась оперением.

«Типичный русский либерал, все дело именно в этом, – недоверчиво подумал журналист о собеседнике. – А русский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос».

Вообще-то он слушал политтехнолога не очень внимательно, думая о сломанных ребрах и результатах анализов. Красивое сравнение понравилось многим из тех, кто стоял и слышал этот разговор. В медийном сообществе принято ценить острое слово и яркое сравнение, особенно если оно ни к чему не обязывает. Но никто не мог предположить, что опальный политтехнолог оказался прав.

* * *

Ребра сломались после первого удара. Острая боль пронзила правый бок, и в легких как-то резко стало не хватать кислорода для вдоха. Он захрипел, глотая уходящий воздух.

– Да не хрипи ты! – лениво и раздраженно сказал здоровяк, сломавший ему ребра.

«Весенний асфальт, оказывается, бывает теплым», – сделал он открытие, уткнувшись в шероховатое дорожное покрытие трассы Севастополь-Ялта. Он, конечно, ошибался. Теплой была кровь, стекавшая на дорогу из узкой раны над бровью. Человек, избивавший его, носил ботинки со стальной пластиной в подошве. «Ткнешь таким ботинком в живот – и тебе сразу каюк», – вспомнил он фразу из документального фильма о наемниках в Африке, любивших такую обувь. Он смотрел этот фильм в ранней юности и даже не думал, что однажды, спустя много лет, жизнь докажет на деле, насколько это кино было честным.

– Никогда не думал, что попаду в кино! – сказал его веселый друг, греческий журналист Костас, когда за их машиной обнаружилась погоня. Сначала в зеркале заднего вида появилось два злых фонаря. Потом еще два загорелись голодным волчьим огнем хищника, почуявшего кровь. Сидя в машине, беспомощно и загнанно удиравшей от вооруженных хищников, ни он, ни Костас не знали, что их атакует целая стая. Если бы они слышали переговоры на таксистской волне, то наверняка удивились бы слаженности работы четырехколесных волков.

* * *

«Они почему-то едут медленно, со скоростью сорок-пятьдесят километров в час!»
«Свернули от заправки. Едут в вашу сторону».
«Берите их на кольцо. Оружие не применять. Камеру и всю технику убить».

* * *

За ними ехали два внедорожника, прижимая белую «рено» к обочине шоссе. «Рено» не могла ехать быстрее. Мощности двигателя не хватало, чтобы вытянуть на подъем пятерых пассажиров и водителя и оторваться от преследователей. Перед лобовым стеклом вдруг мелькнула коричневая «девятка», и человек в шапке-кубанке, с желто-черной ленточкой на зеленом камуфляже яростно саданул по капоту палкой. Водитель остановился.

В своем малолитражном «рено» он вез пятерых журналистов. Один – украинский репортер. Другой – колумнист из греческой газеты. С ними молодая женщина. Вроде как местная, из Симферополя. Но она уже давно работала на большой киевский телеканал и поэтому внезапно стала врагом для своих земляков, надевших «кубанки» и нацепивших ленточки. Именно такие были на куртках крепких парней, только что выскочивших из своих мощных джипов и обступивших белую «рено».

– Выходите! – заорали они и для убедительности стали бить кулаками по стеклам. Выходить очень не хотелось, но украинский репортер знал, что это неизбежно. Он насчитал десяток вооруженных крепышей. Они действовали очень слаженно, точно определяя свое местоположение относительно остановленной машины прессы: напротив каждой из четырех дверей стояло по одному молодчику, и еще несколько человек – со стороны капота и багажника. Украинский репортер заметил, что все они вооружены одинаковыми пистолетами.

«Вряд ли это бандиты, – промелькнула у него мысль. – У тех оружие было бы вразнобой». К тому же пистолет Макарова бандиты не любили. И, словно в подтверждение мыслей, украинский репортер услышал звук выстрела. Хорошо знакомый «макаровский» хлопок. Потом еще один.

Человек стрелял в асфальт. «Не для того, чтобы убить, а для того, чтобы запугать и деморализовать», – подумал репортер и внутренне успокоился. Терять присутствие духа он не собирался и в то же время понимал, что проявлять излишний героизм не стоит: против десятка вооруженных людей пятеро безоружных журналистов ничего не смогут сделать, тем более что среди пятерых была одна женщина.

Ее не тронули и даже не положили вниз лицом на асфальт. Хотя и могли. Видно, в душах этих хищников еще сохранились рудименты чести и представления о правилах хорошего тона. Она стояла и наблюдала за тем, как журналисту из Греции одним мощным ударом сломали нос, как били ногой по лицу и ребрам худощавого оператора и швыряли оземь камеру с широкоугольным объективом, очень дорогую штучковину, позволявшую делать невероятной красоты кадры, если она попадала в руки мастера.

Эти, которые яростно выполняли приказ «убить камеру», тоже были мастерами своего дела. И украинец догадался об этом, отмечая поведение стаи вооруженных хищников. Они стояли так, чтобы в случае чего прикрывать друг друга. А значит, все же готовы были применить оружие на поражение.

* * *

За час до этого журналист отметил, как технично эти люди разогнали толпу операторов, снимавших захват украинской воинской части. Солдаты без опознавательных знаков, в российской зеленой форме, штурмовали часть и не обращали внимания на журналистов. Видно, не было у них приказа стрелять в репортеров. А тех собралось под воротами около тридцати. Ворота попытался таранить грузовой «Урал» без номеров. Попытка не увенчалась успехом. Только железный бампер содрал с ворот полосу серой краски.

– Да у них давно уже эта полоса на воротах! – завизжали две вредные бабы, подъехавшие внезапно на корейской малолитражке к репортерам.

– Зачем же вы врете? – спросила их журналистка, которая некоторое время спустя оказалась в белом «рено».

– Это вы все врете! Украинские журнализды! – ехидно крикнула ей низкорослая девица с черными выющимися волосами. Она стучала своими каблуками, как приземистая степная лошадка копытами. От неприятного коверкания, рифмующегося с бранным соленым словечком «журнализды», стало тошно.

– В чем же мы врем? – спросил барышню репортер-киевлянин.

– А чо ты к ней пристаешь? – подскочила и вторая, блондинка с визгливым голосом. – Или жениться хочешь?

Жениться на такой красавице никому из журналистов не хотелось, но репортер-киевлянин сказал на всякий случай, что при других обстоятельствах рассмотрел бы предложение. Шутка была веселой и вполне мирной, но блондинку она почему-то разозлила.

– Да чо с ними разговаривать, Вика? – сказала она черноволосой. – Па-аехали! Звони «волкам»!

Кто такие эти «волки», стало ясно ровно через пятнадцать минут. Они приехали на мощных внедорожниках, на борту одного из которых красовалась надпись «Смерть фашистам». Хотя, откровенно говоря, фашистами показали себя именно они, люди с георгиевскими ленточками. Они рассредоточились между операторами. Некоторое время стояли, присматриваясь к разношерстным представителям мировой прессы. Выбирали себе жертв. А потом, словно по команде, с криками «Чо сымаем, твою мать?!» набросились на операторов. Избивали их руками, валили на каменистую севастопольскую землю, добивали ногами. Оператор, работавший с женщиной-журналисткой, получил болезненный удар в челюсть. Она вместе с греком затащила покалеченного парня в «рено». Ее собственный водитель незаметно исчез, быстро сообразив, в какую неприятную сторону разворачиваются события перед частью. В верное «рено», оставшееся на поле боя, набились целых две съемочных группы. Нужно было срочно искать больницу для оператора. И они не знали, что больница вскоре понадобится им всем. За ними была погоня.

* * *

«Какая у них машина?»

«Белый “рено”, я их днем видел возле Стрелецкой бухты».

«Куда они сейчас едут?»

«В сторону вокзала».

«Блокируйте их там!»

* * *

Возле вокзала им повезло. «Волки» подскочили к машине, рванули заднюю дверь и выхватили у оператора камеру. Тот не стал сопротивляться и позволил им забрать ее. Преследователи вцепились в нее, как африканские гиены в антилопу. Пущего сходства добавляли подобные звериному рычанию звуки, которые они издавали, ломая нежное телеоборудование. Журналисты выиграли несколько секунд, успели захлопнуть дверь и рванули с места настолько быстро, насколько им позволяла мощность двигателя.

Правда, они не могли догадаться, что в охоте, кроме тех, кого называли «волками», участвуют еще и таксисты. Они следили за машиной весь день и сообщали информацию о перемещениях женщине-диспетчеру, которая милым голосом передавала ее исполнителям.

* * *

«Мальчики, надо уничтожить все видео с регистраторов и камер наблюдения. Ну, сами понимаете...»

«А у меня регистратор и так сломан».

«Вот и хорошо».

* * *

Журналистка понимала, что в Севастополе им нельзя оставаться.

– Тут все против нас, – сказала она. – Надо выехать из города и найти больницу в другом месте.

А в это время репортер-киевлянин говорил по телефону со своим товарищем, коренным севастопольцем, у которого пытался выяснить, как лучше выехать из города.

– Сейчас прямо, – передавал он водителю то, что слышал в телефонной трубке, – чуть позже будет кольцо, и на кольце надо уйти налево.

* * *

Именно на кольце их поймали. Похоже, шансов уйти не было.

– Какой-то голливудский боевик! – пробормотал греческий колумнист перед тем, как его вытащили из машины и сломали нос.

Репортер из Киева смотрел на крепких вооруженных парней в масках, на их ментовские повадки и ментовские неказистые «макаровы», и понимал, что это продолжение того жестокого карнавала, который начался не сегодня, перед украинской военной базой ПВО, а значительно раньше. Тогда, когда впервые на улицах Симферополя и Севастополя появились одинаковые «зеленые человечки», люди с автоматами и пулеметами, одетые в новенькую российскую форму бойцов спецопераций. Все знали, что это российские солдаты и офицеры. Все знали: проверь номера их оружия, и окажется, что оно из России! Но при этом все делали вид, что парни в зеленом – это местные крымские ребята, решившие сохранить порядок и законность на полуострове. Самооборона, как они себя назвали.

«Мы хотим свободно говорить на русском языке! Мы хотим быть частью великой культуры Пушкина, Толстого, Достоевского!»

Так скандировали те, кто создавал шумовой фон для агрессии против украинских военных. Все роли в карнавале были расписаны. Пожилые ветераны и женщины в вязаных бере-

тах громко кричат, называя имена великих писателей. Зеленые одинаковые люди штурмуют воинские части. А крепкие обученные парни в гражданке бьют журналистов.

Вот кто им больше всего мешал! Журналисты! Это они задают неудобные и неуместные вопросы «зеленым человечкам».

«Вы кто, вы откуда?»

«Мы местные».

«Тогда скажите, в каком районе Севастополя вы сейчас находитесь?»

«Не знаю».

«Какие же вы местные?»

«У меня приказ».

«Чей приказ?»

«Не могу сказать. Но вообще-то мы из России».

Это они, журналисты, заставляют визгливых теток в беретах признаться, что ни Пушкин, ни Достоевский с Толстым их не интересуют и, в общем, никогда не интересовали. А хотят они, чтобы пенсии у них были, «как в Москве». Да и многие украинские военные, из тех, кто внутренне уже согласился изменить присяге, не могли дожидаться того момента, когда этих нахальных соотечественников с телекамерами уберут из города. А еще лучше – с полуострова. Изменять присяге перед камерой как-то неловко.

* * *

Им разбили камеры. И переломали кости.

Репортер из Киева был спокоен до того самого момента, когда его греческого товарища стали паковать в багажник. Долговязый грек в тяжелом кожаном реглане плохо умещался в багажнике. Ему помогли тумаками. Затем ударами загнали туда и тщедушного оператора. Тот держался за бок и тяжело дышал, глядя на пистолет, направленный прямо ему в лицо.

«Когда стреляют рядом с головой, это не страшно, – подумал репортер. – Значит, пугают. Когда засовывают людей в багажник, значит, хотят куда-то вывезти. А дальше конец. Похоже, что так».

Он поднялся и облокотился о бампер машины. Надо было что-то сделать. Хотя бы пошутить. Пусть неловко. Он понимал: надо попытаться разрядить обстановку, чтобы его товарищи остались в живых.

– И ты лезь туда, сволочь фашистская! – крикнул здоровяк в маске, направляя пистолет на репортера.

– А, понятно, – пробормотал журналист. – Вы, наверное, думаете, что мы бандеровцы.

– Бендеровцы, бендеровцы! Кто же еще?

И эти коверкали слово «бандеровец». «Почему же, – недоумевал репортер, – поборники великой русской культуры так не по-русски произносят его, превращая сторонников национализма в жителей молдавского города Бендеры?»

– Странно. А вот некоторые нас называют «москалями». За то, что говорим по-русски.

– Да иди ты! Рассказывай больше!

Это не был контакт или диалог. Скорее обмен фразами. Но и его, видимо, было достаточно, чтобы снизить градус жестокости.

– Ладно, езжайте!

Похоже, импровизация с багажником и вывозом в неизвестном направлении отменялась.

– Только запомните: мы знаем, кто вы и откуда, мы знаем, где ваши семьи, так что живите и бойтесь!

Репортер из Киева не хотел бояться. Он разозлился. Эти люди, «волки», попытались ударить журналистов в самое болезненное место.

Еще недавно он приезжал в белый город у моря, чтобы побродить его улицами и послушать шум моря возле Графской пристани. Он хорошо знал, что где-то рядом, на морском дне, навеки осталась мачта линкора «Новороссийск», взорвавшегося при странных обстоятельствах, и он еще совсем недавно пытался в этих обстоятельствах разобраться.

Он рассказывал своим детям о Балаклавской битве, о том, что фраза «тонкая красная линия», означавшая упорство и мужество военных, появилась именно здесь, когда первый в истории журналистики военный репортер Уильям Рассел, сидя на холме, наблюдал за разгромом шотландского отряда в красных мундирах, выстроившегося в яростно отстреливающую цепь.

Он любил к месту и не к месту цитировать Альфреда Теннисона, написавшего об этом разгроме свое знаменитое: «Yours not to reason why, yours but to do and die». Он с детства помнил и описания солдат первой севастопольской обороны, сделанные графом Толстым. И точно как один из увиденных графом воинов пытался в детстве есть арбуз с хлебом. Вкус ему сразу не понравился, но он сказал себе: «Толстой считает, что это вкусно!» – и с помощью великого писателя запихал в себя черную плоть хлеба и красную плоть арбуза.

Он вместе со своими детьми перелезал через забор, чтобы попасть в Херсонес, – как заправский, настоящий севастополец, – и рассказывал им об Ифигении, о греческих колонистах, о фильме «Приключения Буратино» и о князе Владимире. А потом его дочь, закутавшись в клетчатый теплый плед, сидела за колоннадой на белой веранде и, вдыхая аромат травяного крымского чая, смотрела, как по поверхности Артбухты скользит белый парус.

Он был счастлив в этом городе. Но город его предал, на что, как оказалось, не требуется много времени. Это так же легко, как поменять присягу. Чтобы потом, на старости лет, пенсия, как в Москве. Он думал, что Севастополь вечно молодой, а город оказался старым военным пенсионером, коротающим свой век в грезах о несбывшемся вчера.

«Они, наверное, считают себя героями, – пытался понять репортер, – но герои идут в бой с открытыми лицами, а не закрывают их масками». Эти, в масках и с георгиевскими ленточками, оставив себе кошельки и документы, спрятали свои коротконосые «макаровы» и убралась восвояси на мощных джипах.

– Это вас, милая девушка, с Восьмым марта! – криво усмехнувшись, сказал журналистке милиционер на ближайшем посту между Севастополем и Симферополем. Здесь явно знали о происшествии со стрельбой.

– Они все против нас! Они все заодно! – прошептала девушка, размазывая слезы по щекам.

Диагноз ее спутникам смогли поставить только в Киеве. Сломанные ребра, пробитое легкое, травмы головы.

Через несколько дней она сидела в вагоне. Поезд увозил ее в Киев. Она была не одна. Ее мама обреченно смотрела в мокрое от дождя окно, а ее дочь перелистывала разноцветные страницы детской книги. «Меня не били, – думала журналистка, – но убили морально». Ей нужно было привыкать к новому для себя положению. «Беженка, – впервые сказала она себе. – Наверное, первая беженка». Ей казалось, что беженцы – это герои репортажей о войне. А за окном все-таки была не война, а дождливая ранняя весна. Журналистка не знала, что война уже идет. Поезд убегал от неизбежности в неизвестность. Но это была неизвестность не темной, а светлой стороны. «Все будет хорошо-хорошо-хорошо», – уверенным там-тамом отбивали колеса. И она задремала под этот ритм с блуждающей улыбкой на лице. А над степью, за окном, кружила птица, широко загребая крыльями воздух, в котором внезапно стало много кислого привкуса металла. Так здесь бывает перед грозой.

Взведенный автомат

Кофе возле памятника Тарасу Шевченко был самым вкусным в городе. Украина, мне казалось, цеплялась за уплывающий город всеми способами, всем тем, что было в ее арсенале красивого и комфортного. Даже кофе участвовал в борьбе за симпатии. Открытая веранда, сколоченная из дерева, и плотная серая бумага, на которой было напечатано меню, – от всего этого веяло стабильностью и достатком. И девушка, терзаемая нашими вопросами о рецептах блюд, не хмурилась, а мило и даже, пожалуй, задорно улыбалась. Только что у меня было прямое включение с человеком по имени Вадим. Его напористость, характерная для донецких степей и терриконов, могла поначалу испугать чересчур интеллигентных собеседников. О чем бы ни шла речь – пускай даже о рецептах блюд в кафе, – он всегда говорил жестко, весомо и даже агрессивно, четко обозначая и защищая территорию своих интересов. Такова была форма самозащиты, столь необходимая для выживания в этой непростой и жестокой части Европы. Так здесь привыкли говорить многие, и с этим ничего не поделаешь. Но за несколько тяжелой манерой разговора Вадима можно было разглядеть мощный интеллект, образованность и патриотизм – те качества, которые могли сделать его лидером. Он был человеком слова, открытым для дружбы с новыми людьми.

В общем, он мне понравился. В этот вечер случилось так, что все наши луганские съемочные группы оказались в нужное время в нужном месте. Вернее, в удобное время. Почему бы не выпить чашечку кофе? Или, может быть, чего-то покрепче? Ведь рабочий день и эфир закончились.

Все складывалось как нельзя лучше. Это я понял уже потом. А сразу мне не очень понравилось, что милая официантка предложила нам деревянную веранду вместо зала внутри кафе. Все-таки апрель на дворе, как-то зябко. Но дерево было приятное на ощупь, и куртка на плечах не давала замерзнуть. И девушка достаточно мила, чтобы я с ней согласился.

Нас было шесть человек, но ребята решили отвезти свои камеры на съемные квартиры, в которых жили обе наши группы. Они взяли старый, серебристого цвета седан «ниссан», исправно катавший нас по донбасским дорогам. Вадим припарковал свой огромный черный «патрол» чуть дальше веранды кафе. Гена, единственный из моих коллег, кто не поехал отвозить технику после прямого включения, отправился в одиночестве в темноту переулков звонить по телефону, вероятно, своей девушке. Мы с Вадимом ожидали кофе.

В городе было тревожно. В здании службы безопасности Украины засели вооруженные люди, объявившие себя «Луганской Народной Республикой», но тогда, в конце апреля, границы этой республики были обозначены стопками покрышек да спиралью колючей проволоки, в которую обмотался муравейник захваченного здания. На территории «республики» было довольно вольготно. Бутерброды, водка рекой, свобода слова – мощного, крепкого, нецензурного. И ненависть ко всему украинскому вообще, а к столичному телевидению в частности. Но на площади возле памятника Шевченко развевался сине-желтый флаг, и к нам, журналистам, подбегали быстрые озорные студентки с ленточками цвета неба и пшеницы. Брали автографы, знакомились, просто болтали. Возле Кобзаря было спокойно и весело.

Ну вот, ждем мы с Вадимом кофе и обсуждаем его прямое включение. Я тогда считал, что нужно как можно больше показывать местных донбасских бизнесменов, которые могут стать лидерами мнений. Мне казалось, патриотично настроенный жесткий человек, сидевший напротив меня, именно такой. Вадим рассказал, как передал пограничникам две легкобронированных машины. И собирается передать еще. Я его слушал и думал о своем. Надо было закончить статью и найти для этого немного времени. И в этот момент я заметил стаю молодых людей, проходившую мимо кафе.

Их было человек пятнадцать. В спортивных костюмах, которые в темноте казались абсолютно одинаковыми. В кепках и бесформенных шапках. Примерно двадцатилетние. У каждого в руке по бите или просто короткой дубине.

Это был первый раз, когда я увидел, как люмпенская республика выплескивается за шинно-проволочный периметр.

Они проходили достаточно близко от веранды, чтобы до меня донеслись обрывки их разговора:

– Его «патрол» стоит ниже, а выше серебристый «ниссан». И где-то там должен быть этот...

– Цап? – невнятно переспросил говорившего товарищ.

И они пошли дальше. Как раз туда, где развевался флаг и огромный Кобзарь грустно смотрел на прохожих со своего постамента.

«Патрол», «ниссан» – мне это что-то напомнило. Но реакция Вадима оказалась быстрее:

– Вот как, эти тебя «цапом», оказывается, называют?

И у меня сложилась картина. Они видели включение. После него прошло около четверти часа. Как раз приблизительно пятнадцать минут нужно, чтобы определить место включения и добраться от здания СБУ до центральной площади Луганска пешком. Они шли за мной, за всей нашей группой.

Вадим не стал ждать моей реакции.

– Они прошли вперед. Быстрее в машину, поехали!

Нас спасло только то, что на месте не оказалось ни серебристого «ниссана», ни остальных ребят с техникой. Тех, кто искал меня, это ввело в состояние ступора. Пока они искали «ниссан», мы запрыгнули в джип Вадима и принялись кружить по луганским улицам, пытаясь определить, есть ли за нами «хвост». Погони не было. Я набрал номер оператора на съемной квартире:

– Быстро собирай вещи! Надо валить из города.

Моего тезку Андрея не надо было просить дважды. Через пять минут он уже стоял со своим и моим рюкзаком возле коричневой двери луганской многоэтажки.

– Быстро, быстро! – подгонял его Вадим. – Я их знаю. Они нас будут искать.

Еще один круг по городу. Я успел предупредить товарищей, чтобы ни в коем случае не возвращались на площадь.

– Почему?! – со злостью стукнул Вадим по рулевой колонке. – Почему я, как заяц, должен бежать отсюда?!

Это была его родина.

Мы направлялись на выезд из города. Я сделал еще один звонок – предупредил местного журналиста, с которым успел подружиться, о том, что за нами охотятся. Он, темпераментный молодой человек, воскликнул в сердцах:

– Давай я позвоню в милицию! Давай скажу начальнику, что вам угрожают! Начальник наш, он патриот!

Я переглянулся с Вадимом. Тот отрицательно помотал головой. К милиции доверия не было. Один, пусть даже очень хороший, начальник больше не мог отвечать за всех своих подчиненных.

– Скажи мне, в каком направлении вы едете? – кричала телефонная трубка. Я прикрыл микрофон.

– Скажи ему, что мы едем в сторону Тореза, – одними губами выговорил Вадим.

– Выезд в сторону Тореза, – сказал я в телефон, – мы едем туда.

– Понял, – весело сказала трубка. Мой товарищ искренне хотел мне помочь. Но в искренности намерений его друзей из милиции я сомневался. Если бы не местная милиция,

то не было бы в городе пьяных людей с оружием и мрачных штабелей из покрышек вокруг захваченных зданий. Нетрудно предположить, что из города мы выехали по другой дороге.

Ночь подмигивала за окном желтыми огоньками редких встречных машин. Наш джип подбрасывало на ухабах. Каждый раз, когда машина принималась считать ямы, Вадим ругался. Но злился он не на дороги.

– Я же тут учился, потом работал. Я знал здесь всех, и все знали меня. А теперь я должен думать, как свалить из этого городка.

Но это были эмоции. А радио подсказывал, что нужно искать дорогу, которая минует блокпосты с триколорами и георгиевскими ленточками. Других, правда, в округе Луганска и не было.

– Поедем в сторону российского кордона, – решил Вадим. И я не стал с ним спорить. Раньше он служил здесь в погранслужбе и лучше, чем кто бы то ни было, знал все тайные стежки-дорожки местных контрабандистов.

Мы метались по пустым деревням с перекошенными хатами. Луч света периодически выхватывал из темноты согнутые дорожные знаки. А потом, оказавшись на краю неведомого населенного пункта, мы вылетели прямо в степь и увидели перед собой неказистый столб с табличкой «Государственная граница Украины». Ничего, кроме этой надписи, не говорило о том, что в этом месте заканчивается одна страна и начинается другая. Ни забора, ни перекопанной контрольно-следовой полосы. Просто ночная степь, открытая для всех. И мы рванули по степи.

– Мы нарушители государственной границы, – сказал я спокойным голосом.

– Это Россия? – спросил немного встревоженно оператор.

Вадим был спокоен как удав.

– Нет, ребята, эта степь считается нейтральной полосой. Да не волнуйтесь. Тут местные нарушают границу по несколько раз в день.

Машина снова влетела в какое-то село. Я очень надеялся, что это не русское село. Но и родное, украинское, не сулило ничего хорошего. Впереди мы заметили блокпост с российским флагом.

– Сепаратисты, – сказал Вадим.

– Жаль, – попробовал пошутить я. – Мой доктор сказал мне, что я должен избегать тех мест, где людей бьют по голове.

Вадим подмигнул:

– Попробуем следовать рекомендациям доктора. – И потянулся рукой за кресло.

Я разглядел, как из кожаной сумки он достает коротконосый автомат.

– Ребята, вы не против, я буду стрелять в том случае, если нас остановят?

Никто из нас не стал спорить с Вадимом. Он надавил на педаль газа, и я услышал, как автомат щелкнул, досылая патрон в патронник. Клик-клак. Поймал себя на мысли, что в первый раз слышу на родной украинской земле, как автомат готовят к стрельбе боевыми патронами не в тире, не на стрельбище, а на проселке. И я почувствовал, что вот сейчас, в этот момент, мирное время заканчивается и начинается какое-то другое, название которому в тот момент я еще не мог придумать.

Вадим действительно был готов к любому повороту событий, если вдруг его остановят. Но джип пролетел через блокпост, даже не притормозив, и я краем глаза успел лишь заметить, как из-за мешков с песком выползает шатающаяся фигура с берданкой на плече. Казалось, сейчас время такое. И в каждом уважающем себя донбасском селе обязательно должен быть блокпост и человек с ружьем на плече. Как же иначе?

Через несколько минут Вадим сообразил, что мы едем не туда. Он приостановился. На улице пусто. Никого.

– Куда ехать? – спросил Вадим, адресуя вопрос больше себе, чем нам.

И тут из ближайших ворот выглянул мужичонка неопределенных лет, быстрый и, надо полагать, любопытный.

– А вы, это, кого здесь ищете? – поинтересовался он.

– Не кого, а что, – поправил его с донбасской напористостью Вадим. – Дорогу ищем. На Алчевск.

– А-а-а, – с уважением протянул мужичонка, признав в Вадиме своего. – Так вам, это, назад.

– Через блокпост, что ли? – уточнил Вадим.

– Ага, через блокпост и дальше вали по прямой до асфальта. А потом, как увидишь знак, едь по главной, понял?

Это полувопросительное, полуугрожающее донбасское «понял?», сказанное с неповторимым, как грохот угольной вагонетки, нажимом, ни с чем не перепутать.

Мы переглянулись и вздохнули. Развернулись, и, когда машина отъехала от нашего ночного информатора, Вадим снова достал свой автомат. По-другому никак. Через блокпост. Мимо человека с ружьем.

Шатающийся часовой с берданкой, пропустив такую славную возможность досмотреть подозрительный джип, уже было вернулся к ночным сновидениям. И тут джип на полной скорости возвращается. Мы снова пролетели укрепление из мешков, а часовой даже не снял ружьишко с плеча. Понял, видно, что не успеет.

Через час или около того мы стояли возле самой высокой точки в луганской степи. Над обелиском сквозь тучи пробивалась луна, и мы, ожидая верных товарищей Вадима, переминали слова невнятного разговора о стране и о расколе народе.

Когда к нашей машине подъехали друзья Вадима, я перебросил свои вещи из его джипа в их внедорожник и крепко обнял человека, о существовании которого не знал еще утром. И вот, вечером, он уже спасал нас от скорой расправы.

Дальше обошлось без приключений. Ребята смогли отправить нашу группу в Киев.

И уже в Киеве я узнал, что на выезде из Луганска – как раз на той дороге, что шла в Торез, – нас ждали люди с оружием и георгиевскими ленточками. Тогда мне казалось, что все еще можно исправить. Тогда я верил, что суровые донбасские мужики, сложив оружие, снова примутся выяснять отношения исключительно с помощью напористых слов. Не со зла. А потому что здесь все так говорят. Даже украинские патриоты.

Тысяча восемьсот двадцать три плюс один

Граф Сен-Жермен не считал Майдан тем местом, где ему было хорошо. Со стороны он видел все то, что обитатели казачьего куреня старались не замечать. Уродство мешков, наваленных поперек самой лучшей улицы самого лучшего города на земле. Чад из прокопченных бочек, разъедающий глаза. И пьяные колхозники, настырно пытающиеся примазаться к революции. Он был воином и любил порядок. Именно поэтому Сен-Жермен не любил революций. Он думал, что будет наблюдать за ней со стороны. Но однажды ему предложили принять участие в разгоне бунта. И он, хорошенько подумав, понял, что и контрреволюция не его стихия. Тем более что люди, защищавшие законную власть, с упоением срывали и топтали государственные флаги, с которыми шли на площадь покрытые копотью хозяева палаток.

Этого он не мог понять. Любой дипломированный психолог назвал бы ход мыслей Сен-Жермена заковыристыми словечками «когнитивный диссонанс». Но пусть к психологам обращаются экзальтированные барышни с толстыми любовниками и маленькими собачками. Наш герой предпочитал до всего доходить своим умом. Он не хотел быть похожим на воина армии клонов и потому отказался стоять в строю одинаковых людей в черном. Хотя братьями по оружию считал именно их. Тех, в кого летели «коктейли Молотова» и кто бился бэтээром о баррикаду, как тараном, что пробивается в деревянные ворота горной крепости.

Тогда он еще не был Графом Сен-Жерменом. Это прозвище, входящее в резонанс с вечностью, дал ему один украинский генерал. Единственный из генералов, кого воин считал смелым и отчаянным. Настоящим, не паркетным.

– Ну, ты, видно, живучий, как граф Сен-Жермен, мать его! – весело и по-хулигански выругался генерал, когда боец рассказал ему, что задумал. – Собираешься жить вечно? Посмотрите, вылитый граф!

Смотреть на бойца никто не пожелал. Рядом ни одного военного. Разговор был не для чужих ушей. Генерал сидел на бетонном блоке, как простой солдат. Бетон царапал задницу даже сквозь черные гвардейские штаны. Но ни генерал, ни его молодой собеседник на это не обращали внимания.

– А кто такой этот граф Сен-Жермен? – спросил генерала парень.

– Да был, знаешь, один француз, который говорил, что живет уже тысячи лет. Бессмертный, вроде этого. – И генерал улыбнулся.

Парень уважительно покачал головой. Уважение относилось не к легендарному французу, а к генералу.

«Так он, оказывается, еще и книжки читать умеет. А говорят, что у генералов одна извилина, да и ту фуражкой натерло, – подумал молодой гвардеец. – Ну что ж, граф значит граф».

И впрямь было что-то графское, породистое в его независимой манере общаться с товарищами. В прямоте осанки. В поворотах головы. Его носу с горбинкой мог позавидовать любой потомок по линии Валуа. А главное, дерзость того, что задумал гвардеец, была поистине мушкетерской.

Но об этом чуть позже. А сначала о том, почему он стал гвардейцем.

– Я военный. Профессиональный военный. Я себя не вижу вне армии, вне структуры, – так он говорил своему товарищу, разведчику Толику, с которым разоткровенничался на позиции возле Дебальцево. – Я не любил Майдан, не понимал его. Но я видел, как разваливают армию и силовые структуры. Разваливают все те же люди, которые с наслаждением топтали флаги своей страны. А я ей давал присягу, своей стране. И родина для меня не Донбасс или Киевщина. Родина – это ведь вся Украина.

Парень жил в Славянске. Здесь его хорошо знали. Милиция, спецслужбы, чиновники. Никто из его знакомых не удивился, когда молодой человек уволился из внутренних войск. Но тут произошел крутой вираж в его судьбе. Впрочем, он сам вошел в поворот на полной скорости отчаянного болида.

Вежливые «зеленые человечки» захватили милицию в Славянске. Потом здание службы безопасности. Потом сменили власть в городе, оттеснив всех сторонников Украины «за поребрик». Ох как парень не любил это слово. Чужое, заносчивое. Бородатые дядьки, танцующие с автоматами в ресторанах. Боевые машины десанта с «триколорами» на глазах равнодушных водителей «ланосов». Это все то, от чего он должен был защищать свою страну, ведь присягу никто не отменял.

Он долго думал, почему именно его город они выбрали в качестве мишени. Обычный донбасский городок со следами промышленной депрессии ничем не отличался от других одноэтажных городов украинского востока. Железнодорожная станция? Так ведь есть рядом и Дебальцево, и Краматорск. Полезные ископаемые? Соль, газ? В соседнем Артемовске соли побольше, а добычу газа не так-то просто организовать с нуля, особенно если кто-то могущественный ставит палки в колеса прекраснодушным геологам.

И Графа внезапно осенило. Единственное, чего не было нигде на Донбассе, но было в его городе, это название. Все дело в названии города. Славянск. Они же хотят сколотить новую империю, возбужденные идеей панславизма. Освобождение славянских земель от укров должно начаться отсюда, из Славянска. Вполне в духе сытых политтехнологов, руливших этой войной в первые ее дни. Его родной город, не спросив сотню тысяч жителей, круглолицые московские дядьки просто назначили сакральной жертвой.

И вот тогда он вернулся добровольцем. Туда, где из активистов Майдана сколачивали необученные батальоны. В Национальную гвардию.

Идея возникла сразу. Обсуждать ее было не с кем. Младшие командиры слишком молоды и неопытны. Старшим он не доверял. И только громкоголосый высокий генерал с первого взгляда внушал уважение. Этот генерал был какой-то особенный. Планировал операции легко и изящно, а потом ходил на боевые выходы вместе с обычными солдатами, чтобы убедиться в правоте своей тактики. Со стратегией у генерала тоже все было в порядке. Но для выполнения стратегических задач у страны не хватало сил. Для того чтобы блокировать Славянск, нашли только пару тысяч воинов. Да и то лишь после того, как враги расстреляли капитана Геннадия Биличенко. Впрочем, Сен-Жермен еще до этого расстрела понимал, что на его родине идет война. Капитан – ее первая жертва, случайная и оттого еще более трагичная.

– Я смогу войти в город и остаться там, – говорил молодой человек, а генерал внимательно слушал. – И, если повезет, присоединиться к банде. У вас есть информаторы в банде?

– Нет, – ответил генерал. – Такое впечатление, что в этом городе все против нас.

– Но я же оттуда. И я не против, я за, – спорил с генералом упрямый боец.

– Почему ты думаешь, что у тебя получится?

– Я местный. Я служил в ВВ. А ВВшники и майдановцы друг друга не любят.

– Это так, – согласился генерал. Он часто и сам становился буфером между отчаянными бойцами площадных сотен, изобретательными конструкторами катапульти, ловкими метателями коктейлей и офицерами внутренних войск, так упорно не желавшими называться гвардейцами. Но генералу нравилось слово «гвардия». И его дерзкому собеседнику тоже.

– Они все знают обо мне. Знают, что я уволился. А им наверняка нужны бывшие вояки, у которых зуб на Майдан. Но они не знают, что я служу снова.

– Послушай, дружище, – сказал настырному парню генерал, но не по-отечески, а скорее по-товарищески, как будто старший дворовой хулиган давал наставления младшему, –

а как ты назад выходить будешь? Залезть на соседскую яблоню легко. Весь фокус в том, чтобы слезть с нее.

– Ничего, генерал, разберемся, – он подмигнул старшему воинскому начальнику, и тот очень постарался не услышать, как исчезло перед высоким званием уставное обращение «товарищ».

Генерал не обиделся. Наоборот, рассмеялся.

– Ну ты, парень, точно граф Сен-Жермен!

Так у бойца появился свой позывной.

Первую добычу он принес через три дня. Это была схема расположения блокпостов боевиков. Сен-Жермен пришел в балаклаве.

– Правильно, Граф, – сказал ему генерал. – Так и приходи. Не снимай ее, кто бы ни просил. Считай, что родился в балаклаве. А докладывать будешь лично мне. Как понял?

Сен-Жермен уже стремительно делал карьеру среди сепаратистского воинства. Он, записавшись в «ополченцы», неделю простоял на блокпосту на въезде в город. За неделю произошел некий апгрейд в его вооружении и амуниции. Начинать карьеру с охотничьей двустволкой. Потом сменил ружье на пистолет Макарова, отжатый в райотделе милиции. А когда его назначили старшим блокпоста, то выдали АК-74 с подствольным гранатометом, что в начале этой войны еще было сравнительно редким явлением. Худой как спичка Сен-Жермен смотрелся с автоматом и потешно, и грозно одновременно. Но, впрочем, так выглядела добрая половина мятежного воинства. От одних подчиненных Графа веяло с завидным постоянством сивушными запахами. А расширенные зрачки других давали основания думать, что в ходу здесь не только водка с пивом.

Спустя неделю его командир-сепаратист узнал, что Сен-Жермен умеет ставить «растяжки». Повышение не заставило себя ждать. Парня поставили тренировать боевиков, минировавших подступы к блокпостам на «Славянском курорте» и на дороге, что вела в центр от комбикормового завода. Он увидел, что вместе с ним этой непростой работой озадачены еще несколько бородачей.

– Вы из Чечни, ребята? – спросил их осмелевший Сен-Жермен.

– А тебе все бородастые чеченцами кажутся? – ответил один вопросом на вопрос. Остальные засмеялись.

– Из Осетии мы, брат. Южной. Цхинвал знаешь, если чо? – так сказал другой.

Не стоит говорить о том, что все карты и схемы растяжек вскоре оказались у генерала. Но решено было их сразу не снимать, а обезвредить при входе в город. Он с самого начала планировался.

А Сен-Жермен уже искал способ выяснить пути поставок оружия в город. Украинские журналисты трубили о том, что кольцо вокруг Славянска сжимается, но это было не так. Осада города, как прогрызенный мышами мешок, пропускала в город боеприпасы для минометов, снаряды для пушек БМДшки, боевой машины десанта. Нацгвардейцы из всех сил стремились подловить «Нону», наводившую ужас на бойцов. Ее, помнится, отобрали у нерешительных и деликатных украинских десантников. Впрочем, в начале войны украинская армия слабо владела наукой побеждать.

После докладов о том, что самоходный миномет уничтожен, коварная «Нона» воскресла и продолжала кошмарить украинские позиции. Сен-Жермен выяснил, что той, трофейной, захваченной «Ноны» давно уже нет. Через российско-украинскую границу в районе Луганска в город завезли уже третью установку, выдавая ее за трофейную. Это было очень удобно. За ширмой трофейного оружия можно было скрыть не только объем российских поставок, но даже сам факт участия России в войне. Это Большой Брат воюет с нами. Граф это сообразил одним из первых. И даже мог бы это доказать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.